

ЭПИСТОЛЯРНОЕ ТВОРЧЕСТВО В. Я. БРЮСОВА*

Статья М. Л. Гаспарова

В наши дни письмо не считается художественным жанром. Писатели не включают писем в свои прижизненные издания, как когда-то в древности и средневековье, когда из писем складывались целые собрания сочинений. Письмовники, которые почти два тысячелетия были верными спутниками европейской словесной культуры, становятся предметом насмешек, и роль их сходит на нет. Письма больших писателей публикуются лишь посмертно и рассматриваются прежде всего как исторический источник (свидетельство современника об эпохе) и психологический источник (свидетельство человека о себе). Но это нисколько не отменяет необходимости подхода к письмам писателя и как к литературному произведению. Формы, в которых пишутся письма в новое и новейшее время, ничуть не менее устойчивы и традиционны, чем в старину, только эта устойчивость гораздо меньше сознается пишущим, чем в эпоху письмовников, и соответственно требует больше исследовательских усилий для выявления. Это важно не только с внутренней, филологической, но и с внешней, источниковедческой точки зрения. Факт действительности, становясь предметом словесного изложения, преобразовывается в нем по нормам жанра; письмо — это жанр, имеющий свои нормы, меняющиеся от эпохи к эпохе, и если мы не будем учитывать эти нормы, мы не сможем правильно реконструировать факт.

Поэтика писем русских писателей почти не исследовалась в научной литературе. Некоторое внимание уделялось лишь письмам эпохи Пушкина и его предшественников, когда литературность писательских писем была вполне осознанна и очевидна. Для более поздней эпохи как бы подразумевалось, что письма пишутся без правил и позволяют непосредственно заглянуть в душу автора. Это, конечно, не так. Писатель раскрывает себя в письмах ровно настолько, насколько он хочет, рисует в них свой образ точно так же, как в любом другом жанре — образ своего героя. Патетические письма Гоголя, исповедальные — Герцена, торопливо-деловые — Достоевского, осторожно-доброжелательные — Чехова: ни о каких из них нельзя сказать, что они полностью открывают нам своих авторов. Тем более это относится к письмам конца XIX — начала XX в., эпохи большой перестройки не только литературных, но и жизненных норм. Читая письма Брюсова, мы можем увидеть в них новые и очень важные стороны его многогранной личности, не можем лишь одного: сказать, что это и есть «подлинный» Брюсов, свободный от условностей литературного выражения. «Подлинный» Брюсов возникает лишь во взаимодействии всех его словесных и жизненных проявлений — стихов, прозы, статей, писем, поступков и автокомментариев к ним. Воссоздание этого образа потребует еще многих исследовательских усилий.

Задача этой статьи — наметить хотя бы некоторые черты поэтики, характерные для эпистолярного стиля В. Я. Брюсова, позволяющие представить, как строился его авторский образ в жанре письма. Что именно доносит до нас переписка Брюсова — об этом подробно говорится в предисловиях к отдельным публикациям этого тома; здесь пойдет речь лишь о тех приемах, какими в ней это делается.

* Кроме писем, публикуемых в настоящем томе, материалом для рассмотрения послужили письма Брюсова к А. Белому, В. Иванову, Э. Верхарну, А. Шестеркиной, З. Гиппиус, В. Станюковичу, Н. Петровской и др. (ЛН. Т. 85), И. А. Бунину (ЛН. Т. 84), В. Миролюбову, П. Струве (Лит. архив), Л. Вилькиной, Ф. Сологубу (Ежегодник 1973), Г. Чулкову (Чулков Г. Годы странствий. М., 1930), П. Перцову (Письма к Перцову), К. Чуковскому (Чуковский К. Из воспоминаний. М., 1959), А. Измайлову (Ежегодник 1978), М. Ширяевой (Русская литература и Кавказ. Ставрополь, 1974), В. Гиппиусу и др. (В. Брюсов и литература конца XIX—XX в. Ставрополь, 1979). Ссылки на письма из этих публикаций даются только указанием на адресата и дату письма.



БРЮСОВ

Фотография Н. Павлович. Москва, 1910-е годы

Библиотека СССР им. В. И. Ленина, Москва

Эпистолярное наследие Брюсова огромно. Опубликовано оно далеко еще не полностью. Письма литературного и делового содержания известны лучше, чем письма личного содержания; письма ранних лет — лучше, чем письма революционного и пореволюционного времени. Публикаций, воспроизводящих двустороннюю переписку (как в этом и предыдущем брюсовских томах «Литературного наследия»), сравнительно мало; а не слыша голоса эпистолярного собеседника, мы хуже воспринимаем и собственный голос Брюсова. Многие письма Брюсова не сохранились в окончательном беловом виде и восстанавливаются по черновикам. Черновики (иногда по несколько) предшествовали у него почти всем сколько-нибудь важным письмам; если он и пишет Куренскому, «даже не подумав заранее, что буду писать» (14 июня 1895), то оказывается, что и этому письму предшествовал черновик. Как правило, это не черновики-конспекты, подлежащие беловому развертыванию, а готовые связные тексты, и при переработке в беловик их стилистические черты не сглаживались, а заострялись. По всем этим причинам наблюдения над эпистолярной техникой Брюсова могут пока быть только предварительными.

По объему письма можно разделить на малые и большие; по содержанию — на монотематические и политематические; по форме подачи этого содержания — на эпические (с рассказом о событиях), лирические (с самораскрытием или откликом) и прагматические (с убеждением и побуждением); по композиции — на ассоциативные и логические; по замкнутости

или открытости построения — на монологические и диалогические. Все эти черты оказываются существенными для эпистолярной индивидуальности Брюсова; одни из его стилистических предпочтений устойчивы и постоянны, другие меняются с течением времени, но все складываются в картину индивидуальной творческой манеры.

Объем писем в значительной мере предопределяется условиями почтового быта. Открытка, почтовая страница, почтовый лист с двух сторон — каждый пишущий осваивает этот размер применительно к своему почерку и привыкает укладывать сообщение в приблизительно одинаковое число строк. Можно заметить, что короткие письма Брюсова приближаются по объему к открытке — может быть, объем открытки бессознательно запечатлевался привычкой как «малая форма» почтового сообщения. Границы «большой формы» были расплывчаты: когда письмо переходило с листа на лист, число листов могло умножаться до неопределенности — так писались, например, огромные письма Андрея Белого.

Иногда упоминания об объеме письма вторгаются композиционными рубежами в состав сообщения: галантное письмо к В. П. Биндасовой (2—9 июня 1894) заканчивается (в черновике!): «Ах! лист подходит к концу. До свидания, Вера Петровна!»; последняя часть письма к Курсинскому (29 июня 1896) вводится словами: «Однако передо мной последняя страница (. . .)»; к Перцову (25 февраля 1896): «Однако я исписал три листа (. . .)». А Вяч. Иванов, отвечая Брюсову, пишет (13 сентября 1905): «Дорогой Валерий, благодарю тебя за две полные и ласковые страницы (. . .)» — пространственность письма отмечается как знак внимания.

Эпический, лирический и прагматический элемент в составе письма редко существуют в чистом виде. Простого взгляда на любую бытовую переписку достаточно, чтобы заметить их естественное сочетание: в начале письма преобладает лирический элемент (выражение чувств пишущего к адресату или — спокойнее — отклик на вопросы, поставленные адресатом), в середине — эпический (сообщения о новостях), в конце — прагматический (просьбы, поручения, пожелания, вопросы). Если в начале письма преобладает рассказ о себе, то письмо имеет вид монологический и строится более или менее последовательно; если преобладает отклик на вопросы корреспондента — письмо выглядит диалогическим, и порядок высказываний в нем определяется не столько внутренней связностью, сколько задается письмом, на которое пишется ответ.

Образцом такой классической эпистолярной композиции может служить письмо Брюсова Коневскому (между 17 и 20 февраля 1900). Начальный абзац — это отклик на тему, заданную корреспондентом: «Я видел, дорогой Иван Иванович, Ваши стихи, те, которые Вы послали Лангу. Вы очень удачно выбрали образцы нового своего творчества: это все — замечательнейшее (. . .)» — и далее следует разбор этих стихов, от лучших к худшим, сперва от стихотворения к стихотворению, потом суммарно. Следующий абзац — переход от «ответной» к повествовательной части: «О Вашей поэзии мнения самые разные — от восторженных поклонников (. . .) до крайних отрицателей (. . .) Дурнов молчит, Бахман никак не может прочесть Вашей книги, Бальмонт писал мне (. . .)». Затем — повествовательная часть: «Был здесь "Вечер нового искусства" (. . .) Выходит в Москве журнальчик "Муравей", немного тянувшийся к новому (. . .) Еще из "литераторов" узнал я В. Каллаша и Л. Медведева (. . .) Читали ли Вы "Песни старости" Жемчужникова? (. . .) Вышла книжка стихов В. Голикова (. . .) П. Перцов издает второе издание "Молодой поэзии" (. . .)». И, наконец, последний абзац, связанный с предыдущим упоминанием о стихах адресата, — прагматический: «Заметьте, что в Москве Вашей книги в продаже нет. Зайдите к Суворину и упрекните их жесточе. Кстати скажите, чтобы послали в Москву и "Книгу Раздумий". Бальмонт просил меня просить Вас (. . .)» и т. д. В заключение, после подписи — постскрипtum, возвращающий к начальной теме письма: «Если Вы написали нового, не откажитесь прислать Вашим верным читателям».

Но таких композиционно уравновешенных писем у Брюсова мало. В большинстве ранних его писем преобладает, как мы увидим, лирическое начало, в большинстве поздних — прагматическое, деловое. Эпическое, повествовательное подчинено им и обычно отходит на второй план. Исключения редки; когда рассказ о новостях появляется в письме, то это обычно московские литературные новости, сообщаемые дальнему единомышленнику — Коневскому в Петербург (как в приведенном письме), Чулкову в Сибирь, Станюковичу в полк, Курсинскому в Серпухов, Белому в Мюнхен и Париж, Зинаиде Гиппиус в Париж.

По единообразию или разнообразию затрагиваемых предметов письма делятся на монотематические и политематические. Здесь у Брюсова, как во всякой переписке, решительно

преобладают письма политематические, многотемные. Это естественно: предполагается, что пишущий пользуется случаем для того, чтобы сообщить о себе все. Это предопределяет некоторую несвязность композиции и отрывистость стиля в письмах: эти свойства как бы составляют привилегию и прелесть эпистолярного жанра, тематически однообразное и связанное письмо воспринимается как педантизм. Поэтому во избежание такого впечатления пишущий старается внести в однотемное письмо тематический или стилистический перебой — как бы напоминание о жанре.

У Брюсова (и не у него одного) такие тематические перебои обычно отмечают конец письма — иногда постскрипtum. Как правило, перебивающая тема — более сниженная, прозаичная, деловая. Движение мысли в письме начинается с конкретного повода (хотя бы простейшего: «я получил твое письмо»), постепенно переходит к предметам более широким и общим, а под конец вновь возвращается с неба на землю, — иногда переосмысляя при этом все сказанное выше.

Так, в письме к тетке, З. А. Бакулиной (март-апрель 1897), Брюсов очень эффектно, броско и связно излагает всю эпатирующую программу своего аморализма, а потом пишет: «Клянусь, я был искренен, тетя. Впрочем, могу добавить, что одна особа, ум которой я ценю, выслушав подобную же исповедь, сказала мне, что я не знаю сам себя. И это может быть — но что же дальше? Валерий Брюсов». Так, другое его письмо схожего содержания (Бипидасовой, 8—13 ноября 1893), выразив с полной ясностью, что он чужд обществу и убеждениям общества, вдруг заканчивается: «Р. S. Меня очень интригует, что происходит на сеансах у Красковых (. . .)» и т. д. В письме к Самыгину (около 11 марта 1900) Брюсов рассказывает высоким слогом о своих творческих планах («Подходит весна (. . .) Буду писать то, что хочу. К осени непременно издам книгу стихов (. . .)», а потом круто меняет тон: «Теперь о найденных Вами рукописях. Как словесник Вы знаете (. . .)». Это почти реминисценция из концовки пушкинского «Разговора книгопродавца с поэтом». Впрочем, в письмах Бальмонта мы находим перебои не менее яркие: одно из лучших его лирических писем (9 октября 1902) кончается: «(. . .) И в самом низком падении не забуду о нашей, о Вашей и моей блестящей двумирной вечерней звезде. Ваш К. Бальмонт. Р. S. Пожалуйста, обратите внимание: в листах моей книги кажется не везде поставлено внизу мое имя (. . .)».

Когда тематический перебой вводится не в конце, а в середине письма, то обычно он, наоборот, отклоняется не к снижению, а к возвышению, к лиризму. Письмо к Курсинскому (23 октября 1899) начинается сообщениями о своей жизни и гостях, потом говорится «завидую твоему одиночеству», «я хотел бы жизни средневекового алхимика в замкнутой башне», а потом, с абзаца: «Сейчас черная ночь и фонари. Если задуть свечи, на стену мою ляжет печать от оконных рам. Это фонарь отдается мне в руки. В лунную ночь так отдается луна (. . .)» и т. д. И возвращается к прозе: «Надеюсь скоро прислать тебе книжку, которую издает Бальмонт (. . .)» и т. д. Такой же «ночной» тирадой начинается письмо к Кожевскому (ноябрь-декабрь 1900), с перебоем: «Вы скажете, что это бальмонтовщина (. . .)». После этого описательные отступления надолго исчезают, чтобы вновь вдруг возникнуть в гораздо более позднем письме к В. Иванову из Майоренгофа через три месяца после смерти Н. Львовой (20 января 1914): «О себе опять не пишу: трудно (. . .) Иоанна Матвеевна в Москве; если с нею встретишься, онадорасскажет внешности». Абзац — и почти гекзаметрический ритм: «Море шумит о снег; сосны шумят, отвечая. Еще никогда я не видел зимнего моря: радуюсь и пишу к нему строфы (. . .)». И снова — смена интонации: «О Москве не то что стараюсь, а решаюсь не думать (. . .)».

Слово «внешности» в приведенной цитате — почти термин. В этой системе перебоев высокие и низкие темы противопоставлялись как «внутреннее» и «внешнее». В переписке брюсовского круга единственным достойным обсуждения предметом считалась внутренняя духовная жизнь; все остальное — быт, издательские дела, политика, переезды, встречи — было «внешним» и требовало извинительных оговорок. «Сегодня о внешних. Получил письмо (. . .)» — начинается письмо к Шестеркиной (7 июля 1901); «пишу Вам несколько внешностей. „Пламенники“ будет очень трудно печатать в Москве (. . .)» — письмо к Иванову (16 мая 1903). Черновик письма к Бальмонту (декабрь 1899) прямо делится на две части с подзаголовками: «Внешнее: Книгу Шарко отдал (. . .) Перцов и Дурнов (. . .) „Книги раздумий“ в Москве нет (. . .)» и «Внутреннее: Друг мой! очень хотелось бы написать Вам открыто (. . .)» — и далее о темах и мыслях стихов Бальмонта; однако в заключение неожиданно: «Но для меня это — внешнее, дважды внешнее (. . .)» и т. д. В самом деле, при после-

довательном противопоставлении этих понятий оказывалось, что «внутреннее» по самой своей тонкости и возвышенности не поддается передаче словом и ускользает за пределы письма. Бальмонт тщетно закликает Брюсова (20 августа 1902): «Сообщите же о себе что-нибудь и внешнее и внутреннее (. . .)». Когда сам Бальмонт (5 января 1903) сперва описывает Брюсову «русский вечер» с чтением стихов, а потом пишет: «Внешности. В промежутке между этими вечерами я блуждал по ночному Парижу. Один. С отчаянием в душе (. . .)», то контраст между этими двумя половинами письма почти не ощущается. Потом в игру этими понятиями включается и Белый: «Дни такие, что надо быть начеку и не хочешь себя парализовать внешностями» (4 марта 1904), а Брюсов успокаивает Белого: «Ах, не презирайте внешнего» (16 октября 1906).

Изысканным синонимом к слову «внешнее» было выражение «три измерения». А. М. Добролюбов в письме (апрель-май 1896), которое начинается: «Думал о *гордой первобытности*, которая при нежных и волокнистых звуках гобоев и Ноева там-тама приближается к миру. Царица рыжего льва! ты сквозила в задумчивых глазах галла Верлена (. . .)», — переходит к деловой части словами: «Вопросы, близкие жизни и точности трех измерений... 1) Пока опускаю типографию Снегирева (. . .)» и т. д. Это же выражение Брюсов повторяет в письме к Шестеркиной (31 мая 1901): «А чтобы покончить с вопросами трех измерений (. . .)».

Важным элементом эпистолярного этикета было умение стилизоваться в письмах в соответствии с обликом и манерой своего корреспондента — вести с каждым собеседником беседу на его собственном языке. Это касается и затрагиваемых тем: так, в письмах и открытках к С. А. Полякову (если они не чисто делового содержания) Брюсов даже без видимой необходимости старается упомянуть, во-первых, о своем упражнении в шведском, итальянском и других иностранных языках, а во-вторых, о вкусе вин, которые ему случалось пробовать: и то и другое, как мы знаем, составляло предмет особого интереса С. А. Полякова — «Ещебоева». В ююшеских письмах к Ширяевой Брюсов описывает даже туалеты пятигорских дам (1896). Письма Брюсова к Гиппиус в Париж с изысканно-фамильярными интонациями, обилием бытовых подробностей, с их уклоном в сплетню и в эротический намек (интерпретация стихов Вяч. Иванова и М. В. Сабашниковой в письме от 22 мая 1907; ср. ту же тему в письме Чуковскому 20 мая 1907) почти зеркально отражают эпистолярную манеру самой Гиппиус.

Когда Брюсов пишет Льву Толстому (20 января 1898), выражая пожелание, чтобы тот упомянул о его брошюре «О искусстве» в своем сочинении на ту же тему, он обращается к библейским образам: «Мне не хотелось бы, чтобы этот факт оставался неизвестным читателям Вашей статьи. А Вы, конечно, не захотите взять у меня, подобно богатому в притче Нафана, мою „агницу единую“». Когда Брюсов пишет к А. М. Добролюбову, он воспроизводит его профетический стиль: «Верю, что был некий ужас дня (и я ждал так) и истина, что Исаи гл. АІ ст. І—К пророчествовал. Но да будет иной конец. К чему бояться? Полночное солнце близко, но оно вещество, и ближе тайна, ибо внутри нас. Смотрим к полуночи и мы, и многие. Получен ответ от сестры на Белоозере: пусть продолжает не ведать кто, и верить, и ждать; эта вера ее спасение(. . .)» и т. д. (начало декабря 1898; ср. письмо от 11 августа 1898). А когда Брюсов пишет к И. И. Коневскому, у него появляются необычно-значачие слова, столь характерные для прозы его собеседника: «вещи милые и ласкательные», «убедили меня безотрицательно» (письма от 4 января 1899 и от мая 1900).

Кроме стилизации под корреспондента, была возможна также стилизация под эпистолярную традицию русской классической литературы. Этот вопрос совершенно не исследован, а он представляет большую важность: после того как перестали быть образцами письмовники, таковыми могли стать письма русских классиков, все чаще публиковавшиеся во второй половине XIX в. (Брюсов, сотрудник «Русского архива», имел к ним профессиональный интерес). Почти с уверенностью можно сказать, что письмо Брюсова Курисскому (15 июня 1896) о поездке через Крым в Пятигорск подражает письму Пушкина Л. С. Пушкину (24 сентября 1820), отрывок из которого приложен послесловием к «Бахчисарайскому фонтану»: здесь та же игра беглых упоминаний о большом и интересном и подробных — о бытовых частностях и встречах. Может быть, к письмам Пушкина восходит и интонация коротких учащенных вопросов, время от времени возникающая у Брюсова: «Что Белый? Прислал ли возражение на мое «Открытое письмо»? И что Вячеслав? Бальмонт прислал мне открытку (. . .)» (Полякову, 11 июня 1905); «Что Минский? Как Минский? Почему Минский? Вы лучше знаете, напишите» (Чукову, ноябрь 1905, о редакторстве Минского в социал-демократичес-

кой «Новой жизни») — ср. у Пушкина, например, письмо к Я. Н. Толстому (26 сентября 1822).

Конечная цель письма как литературного жанра — создать художественный образ автора, отправителя письма. Эта цель была близка Брюсову всю жизнь, но средства, служащие ей, менялись. В этих изменениях можно выделить два периода: «Брюсов непризнанный», 1890-е годы, и «Брюсов признанный», 1900—1910-е годы. Более поздние, пореволюционные письма Брюсова слишком мало изучены и ускользают от схематизации.

Ранний, непризнанный Брюсов весь сосредоточен на одной теме: на самоутверждении. Этому посвящены и стихи его, и теоретические раздумья, и письма. «Самообожание» упоминает он в письме к Курсинскому (3 августа 1898). Апофеоз собственного «я», которое поглощает и творит мир, — главный предмет его забот. В этом преображались и естественные чувства начинающего автора, пробивающегося в литературу, и философские интересы (к Лейбницу), и напряженные «поиски себя» — собственного поэтического голоса и стиля. Он ищет формы, которые позволили бы ему свести воедино все многообразные проявления этого «я», и находит их прежде всего в дневниках и письмах. Эти два жанра сближены у молодого Брюсова теснейшим образом. Об этом справедливо говорится во вступительной статье С. И. Гиндина к разделу «Письма из рабочих тетрадей Брюсова», где публикуемые им эпистолярные тексты закономерно названы «эпистолярным дневником» молодого Брюсова.

Рабочие тетради Брюсова 1890-х годов, из которых извлечен материал этого раздела, замечательны динамическим беспорядком, в котором там чередуются, перебивая друг друга и набегая друг на друга, отрывки стихов, писем, прозы, рабочих записей, проектов и проектов. Брюсов дорожил этим способом работы, потому что в нем нагляднее всего запечатлевалось вседневное движение его «я». Здесь это «я» представало в натуре; а описанием его со стороны становились, во-первых, дневник (тетради «Моя жизнь»), а во-вторых, письма, дававшие как бы ряд мгновенных фотографий с состояний этого «я». Эти жанры взаимодействовали: дневниковые формулировки своего самоутверждения размножались в письмах, удачно сложившиеся страницы писем переписывались в дневник («Из письма к Самыгину» 8—9 сентября 1897 и др.). Еще в 1900 г. при сборнике «Tertia vigilia» Брюсов анонсировал книгу прозы «Истины. — Мои письма», видимо надеясь в этой форме приблизиться к «конечной цели искусства», т. е. «выразить полноту души художника» («Предисловие» к «Tertia vigilia»).

Повято, что, сближаясь с авторским дневником, письмо тем самым отделяется от адресата: пишущий сосредоточен на себе, а не на нем. Брюсов пишет Фриче в рабочей тетради (между 14 июня и 6 июля 1895): «Владимир Максимович, многоуважаемый. Будет ли послано это письмо — не знаю, ибо не знаю и Вашего адреса, но тем более интереса для меня в самом письме. Мне хочется поговорить с Вами, после того, как я письменно поговорил с Бальмонтом, с Курсинским, с Перцовым. Говорить я буду, конечно, о себе, что и подобает поэту, символисту и Валерию Брюсову (. . .)». Ирония здесь несомненна, Брюсов действительно хотел писать Фриче и искал его адреса, но суть остается сутью: «тем более интереса (. . .) в самом письме».

Чтобы не вводить адресатов в недоумение, Брюсов прямо предупреждает, что пишет письма «под настроение»: «Прилагаемое письмо несколько не похоже на мои обычные письма, но это зависит от моего настроения (. . .)» (Перцову, 19 ноября 1895). Оговорками о переменах своего настроения от письма к письму начинаются обращения к Бальмонту (июль 1897, с цитатой из Баратынского, что всем чувствам «боги праведные дали одинакие крыле») и к Перцову (25 августа 1895, кончающееся: «Прерву свое письмо — душа что-то не настроена для писем (. . .)» и т. д.).

С другой стороны, если настроение влияет на письмо, то и письмо может влиять на настроение: некоторые письма молодой Брюсов пишет едва ли не для самовозбуждения. Так, письмо к Павловской (18—19 ноября 1896) начинается с высокомерных вразумлений о том, что их любовь, которая для нее — все, для него лишь малая часть его души, а продолжаете: «(. . .) и сегодня, сейчас, после этих строк я плакать готов, зная, что сегодня не увижу тебя. Милая, сжался над моим безумием (. . .)» (и т. д.) — и заканчивается уговорами о встрече. При желании, конечно, можно, напротив, видеть в начальной части письма нарочитую позу, а в конце — прорвавшееся искреннее чувство; о возможности таких двойных интерпретаций следует помнить постоянно.

Предельный случай безотносительности письма к адресату — это когда одно и то же в одних и тех же выражениях пишется разным лицам. Романтические прецеденты такого по-

ведения Брюсов знал: «Герой Альфреда де Мюссе, написав письмо одной женщине, посылает его другой, потому что, по счастью, имя не было обозначено. Я не так счастлив (. . .)» (К Фриче, 14 июня — 6 июля 1895); этот опыт Мюссе Брюсов едва ли не в точности повторяет в письме к Шестеркиной (25 июля 1900). Подобно этому же на вопросы тетки о своем мирозерцании он отвечает: «(. . .) посылаю Вам одно старое письмо. Одна девушка, которую я уважал и уважаю, сделала мне не так давно почти те же упреки и поставила почти те же вопросы, как и Вы. Я ответил ей письмом (. . .) От этого письма у меня сохранилась черновая. Переписываю ее Вам, но говорю, что не подо всем высказанным там я подписался бы (. . .)» (Бакулиной, 6 апреля 1897; не исключено, что этэ мистификация, но характерная). Тетка резонно отвечала: «Что мне за желание читать ответ, писанный не ко мне? (. . .) Как же я там найду, под чем бы ты подписался и под чем нет?» и т. д.

Но такое использование старых писем — сравнительно редко, чаще размножаются новые. 12 марта 1897 г. Брюсов получает письмо от Бальмонта и записывает в дневник лирическую тираду с цитатами из Фофанова и из Шекспира: «"Душа отстрадала и только забвения просит". Как просто. "Забвения". Как детски просто. О, Гамлет, Гамлет! "Простым ударом шила..."» и т. д. Из дневника эти слова переходят в ответ Бальмонту (22 марта), в писавшееся одновременно письмо Куркинскому (16 марта), в письмо Павловской (конец марта — апрель). 18 апреля 1897 г. Брюсов пишет Павловской, обнадеживая ее «единением» в грядущем свете, выписывает сентенцию из Осии (. . .) и возлюблю невозлюбленную (. . .)» и описывает выставочную картину Нестерова, проникнутую светом и тишиной; через неделю он повторяет и это описание и эту сентенцию в письме к Бальмонту (25 апреля), но уже с чисто эстетической точки зрения: «Да, чтоб не забыть. У нас на Передвижной выставке (. . .)»; «Последнее "кстати". Из пророка Осии: "Рече Господь (. . .) и возлюблю невозлюбленную (. . .) людие мои есте". Хорошо?». Программная брюсовская мысль о «я» как пантеоне, где все различия гаснут — «будем молиться и дню и ночи, и Митре и Адонису, Христу и Дьяволу», — формулируется в письме к Самыгину (февраль 1899), переписывается в дневник, а оттуда повторяется в письмах к Станюковичу (весна 1899), к Бунину (22 марта) и в немногих более отдаленных выражениях — к Коневскому (18 марта). Нет нужды умножать примеры: еще многие такие случаи перечислены в примечаниях к публикациям писем. Вершиной этой самоповторности был замечательный «ревельский циркуляр» (июнь 1900) с описанием Ревеля и медитациями о беге времени: «Письмо Юргису, Ореусу, Бальмонту и Шестеркиной (в Москву, на Сайму, в Оксфорд, в Бахчисарай из Ревеля)», о котором сам Брюсов вскоре писал Самыгину (июль 1900): «Отсюда приходилось писать так много писем, что у меня выработался особый эпистолярный стиль, и писал я всем одно и то же или почти. Вам — мне этого не хотелось. Неужели условно-красивыми фразами описывать море и старый Ревель (. . .) и размышлять о власти Прошедшего над нашей душой (. . .)». После этой самокритики случаи такого рода, как кажется, исчезают из эпистолярной практики Брюсова.

Пафос самоутверждения, проникающий переписку молодого Брюсова, определяет и тему и жанр его писем этого времени: это письма лирические, письма о себе (вспомним еще раз ироническое: «Говорить я буду, конечно, о себе, что и подобает поэту, символисту и Валерию Брюсову (. . .)» — из письма к Фриче). «О себе» тоже можно писать по-разному: такие письма могут быть или записью текущих мыслей и переживаний в их мгновенной противоречивости, или итогом и результатом этих мыслей, как бы статичным (хотя бы ненадолго) автопортретом со стороны. В первом случае преобладают интонации сомнений и исканий, во втором — категоричные и авторитарные. В письмах Брюсова мы находим и те и другие; но заметнее, и характернее в них интонации второго типа. (Первый тип, поток сознания, переходящий порой в почти «автоматическое письмо», гораздо более свойствен, например, Андрею Белому.)

Брюсов не вырабатывает своего кредо на глазах у адресата, он предпочитает декларировать его в готовом виде, и по возможности — с вызовом, с рисовкой, с бравадой. Он бравирует декадентским аморализмом перед знакомой барышней (Биндасовой, 8—13 ноября 1893) и перед пожилой тетужкой (Бакулиной, март-апрель 1897), бравирует успехами — театральными, литературными, любовными, учебными (той же Биндасовой, 2—9 июня 1894), своими способностями («кто знает мою (фантастическую) необыкновенную память (. . .)», — пишет он, завязывая литературное знакомство с Приска де Ландель, 3—4 апреля 1895), великими замыслами («Приятно, знаете, работать над большой поэмой, как-то становишься причастным тому же Тассо (. . .)», — обращается он к Фриче (июнь-июль 1895) с почти издевательски-хлестаковской интонацией; «это будет труд громадный, величайший.



МЕМОРИАЛЬНЫЙ КАБИНЕТ БРЮСОВА

Фотография, 1960-е годы

Литературный музей, Москва

Он должен создать науку истории литературы" (. . .)», — пишет он об «Истории русской литературы» к Самыгину 15 июля 1897, уже без всякой прощанья), разнообразием интересов (Вилькиной о математике, июль 1903), творческой ненасытностью (самая частая тема, возникающая вновь и вновь в перечнях того, что Брюсов пишет и что он уже написал), сплетением восторга и ненависти (Ясинскому, 21 февраля 1894), пушкинской хвалой чуме (Бальмонту, октябрь 1898), опасностью смерти (Бальмонту, 12 января 1896). Даже когда Брюсов обращается к более диалектичному раскрытию себя, с колебаниями и переспросами, то это сопровождается взглядом на себя со стороны, как бы добавляющим к образу эпистолярного героя молодого Брюсова еще одну черту — драматическую противоречивость (Самыгину, 15 июля 1897: «Я не напишу Вам больше восторженного письма: те минуты прошли, и я опять холодно и спокойно смотрю на свою жизнь (. . .) Но разве нельзя быть одиноким, женившись? — О, какой грубый вопрос, как он резко врывается в мои думы. Я ничего не утверждаю. Простите. Я сегодня совсем бессистемно болтаю, и этого письма не следовало бы посылать. Помните у Фофанова? (. . .)» и т. д.).

Этот образ декадента-аморалиста, полного гениальных замыслов, разрабатывался Брюсовым, как известно, не только в письмах, но и в стихах, и в статьях: в публикуемой переписке с Щеголевым мы находим отклики на брюсовские статьи 1903 г., где тот же образ примеривается и к Пушкину. Брюсов подтверждает: «Я знаю, что иное у меня можно прямо отвергнуть, а в очень многом усомниться, подвергнув критике мои источники (. . .) Но ведь (. . .) я этими документами лишь старался подтвердить, оправдать тот его образ, который возник предо мной независимо. И — сознаюсь — мой «развратный» Пушкин нравится мне гораздо больше, чем лицемерный Пушкин (. . .)» (Щеголеву, август 1903). Разрабатывался он не только Брюсовым, но и всем литературным кругом, к которому Брюсов принадлежал: не менее броские бравады мы встречаем здесь в письмах Бальмонта Брюсову, причем если у Брюсова самопрония сказывалась в неожиданных хлестаковских интонациях, то у Бальмонта — в интонациях «Записок сумасшедшего» (26 июля 1903: «(. . .) Мне нравятся публичные дома (. . .) Какой однако я систематический оргазмчик. Правильно разыгрываю

мелодии: Теперь я сижу на веточке и говорю "чирик-чирик". Как берегут меня боги. Быть может, "для примера". Готов служить»).

Принятая маска определяет тон писем и там, где речь идет не о себе, а об адресате: тон важный и высокомерный. В комплименте он звучит так: «Со времени Вашей первой книги Вы сделали значительный шаг на пути к оригинальности. Ваши стихи несомненно произвели на меня впечатление, и мне суждено еще много раз перечитывать их» (это пишет в ноябре 1896 г. 23-летний Брюсов 33-летнему Сологубу). В выговоре он звучит так: «Но Вы убоялись и отступили (. . .) Я думаю, что Вы призваны не облегчать горести, а возложить на людей новые великие и спасительные страдания. Горе, если я ошибался. Подумайте» (Самыгину, 11 августа 1898; переписано в записную книжку). Впрочем, в зависимости от обстоятельств Брюсов легко меняет маску: достаточно сравнить с этим тот галантный урок элементарного стихосложения, который Брюсов дает неизвестной даме, приславшей беспомощные стихи для «Русских символистов» (2 июня 1894: «так, в слове "любовь" ударение на букве О (. . .)»).

В общем лирическом типе ранних писем Брюсова можно различить несколько разновидностей, но точные границы между ними провести трудно. Лирическим описанием можно назвать письмо к Павловской (5—12 января 1897) с впечатлениями от Эрмитажа и художественной выставки попеременно с цитатами из стихов Мережковского, Фруга, Фета, Баратынского и Гиппиус. Лирической информацией — письмо к Самыгину (около 11 марта 1900): «Зима подходит к концу, и стоит на нее оглянуться (. . .) Вместо того, чтобы писать историю лирики, я должен был исполнять черную работу историка (. . .)». Лирическим воспоминанием начинается письмо к Станюковичу (начало октября 1895). Лирической декларацией завершается разговор на литературные темы в письме к Самыгину (июль 1900): «"Так. Полдень мой настал" — слова Пушкина. Чувствую и сознаю свои силы. Ныне я не могу написать ничтожной вещи (. . .)», — потом этот пушкинский мотив полдня жизни будет проходить по письмам и стихам Брюсова еще лет пять. Лирически-торжественным можно назвать стиль обращения к Коневскому (26 января 1899): «Ваши тетради прочел, и уже давно, и Вас приветствую. Да, это торжество, и тоже "дух на своих независимых путях подходящий к таинственному". Что говорим мы о наслаждениях искусством, все было мне в Ваших стихах». Лирически-отрывистым — стиль обращения к Бальмонту (октябрь 1896): «Далекие и прошлые дни. Ускользнуть легко, но человек проклят. Я боюсь, что Вы мне не поверите. Знаете, что с тех пор, как Вы уехали, я не написал ни одного стихотворения (. . .)». Иронией проявляет себя лиризм в письмах к Бальмонту (16 февраля 1897 и 11 февраля 1899) с описанием заседания литературного кружка и светской беседы, посвященных Бальмонту. Более непринужденно-описательны пространственные письма из Пятигорска к Курсинскому (лето 1896), которые интересно сравнить с одновременными письмами к совсем внелитературному адресату — М. П. Ширяевой; но на общем фоне известных нам брюсовских писем середины 1890-х годов — это редкость.

Стиль в узком смысле слова — словесный стиль — отличается в лирических письмах Брюсова приподнятостью, отрывистостью, вопросительными и восклицательными фигурами. «А! да будет проклята любовь! проклята! проклята! Если когда-либо человек знал унижение (. . .)» и т. д. (Павловской, 25 ноября 1896). «Забудешь? Не надо, ничего не надо. На лице серафическая улыбка. Так улыбался "Идиот" (. . .)» (ей же, февраль 1897). «Любовь, утнувшая в благоговении, — знаете Вы это? Если знаете — жаль! она не вернется (. . .) Вы волна, на которую упал отблеск пожара. Дорогая! я у отринутого алтаря (. . .)» (Щепкиной-Куперник, 8—21 декабря 1894; по-видимому, неотправленное литературное упражнение): Брюсов так писал не только дамам: письмо к Бальмонту из больницы (12 января 1896) начинается: «Привет! И вновь? Потрясающая новость? — их нет. Есть только смерть и ночь — пожалуй, впрочем, утро, но столь же черное. Мой сосед по койке хрипит и бормочет (. . .)» и т. д. Конечно, такой насыщенности стилистический пафос Брюсова достигает далеко не во всех письмах; в зависимости от степени его можно, при желании, говорить о письмах высокого стиля (как в этих примерах), среднего и простого. Такая стилистическая тенденция опять-таки характерна не для одного Брюсова: достаточно сравнить, как Бальмонт пишет о своем флюсе (7 января 1903) или просит денег (7—8 ноября 1903): «Молю. Найди. Пошли. Жду. Твой К. Бальмонт. Никто, кроме тебя. Ну скорей. Пошли. И потом к тебе приду. Жду. Твой К.»

Такая отрывистость сказывается и на композиции писем. Она располагает к композиции не логической, а ассоциативной. Если письма «простого стиля» рассыпаются на беспорядоч-

ную вереницу коротких сообщений (напр., Бальмонту, июль 1901: «(. . .) Еще написал статью о спиритизме (. . .) Теперь у нас на несколько дней сестра жены (. . .) Изучаю Лобачевского (. . .) О "Атенеуме" не имею никаких сведений (. . .) Говорил ли Вам о книге Мережковского? (. . .)», а письма «среднего стиля» — на тематически замкнутые фрагменты (напр., Бальмонту, 15—28 января 1896: фрагмент о выздоровлении и смерти, о творческих планах, рамка из «приходите!»), то письма «высокого стиля» построены на ассоциациях мысли.

Яркий пример такой ассоциативной композиции — письмо к Курсинскому (22 ноября 1896). Оно начинается цитатой из Бальмонта. Вторая ее последним словом: «Кто-то в обширной // Бездне плывет...», Брюсов начинает: «Друг мой, я плыву в обширной бездне (. . .)»; следует цитата из полежаевской «Песни погибающего пловца», затем замечание об архаических рифмах в этой цитате. «Ты знаешь, я надолго прекращаю свою литературную деятельность (. . .) Друг мой! Зачем Ты в Киеве не пишешь стихов?». Следует цитата из Надсона: «У нас здесь мрак непросвещения (. . .)» — и поправка к ней: «Впрочем, у нас Сальвини и Барнай — я смотрю Шекспира». Разговор переходит на собственную трагедию, соперничающую с шекспировской, цитата из этой трагедии («(. . .) Это мелодия // Первой любви») подставляет мысль: «Не написать ли брошюрки "Позор любви"?», за этой мыслью тянется цитата о любви из собственного письма к Павловской, потом из Шелли в переводе Бальмонта, потом филологические фантазии по поводу последней цитаты. Это обрывается словами: «О! Да будут прокляты все филологические изыскания и исторические науки с ними». От этих университетских предметов мысль переходит к университетским студентам и их недавним волнениям, итог ее — «Убивайте, убивающие, // Безумствуйте, безумствующие» (пародия на Сологуба). Этот экспромт вызывает замечание о гипердактилических рифмах в русском языке, оно подкрепляется цитатой из А. М. Добролюбова, кончающейся словами «(. . .) молодость женственная», и это дает толчок последней цепочке мыслей: цитата из Гете («Das Ewig-Weibliche...»), цитата из Пушкина («Лишь юности и красоты...»), цитата из Курсинского, возвращение к прежней теме и обрыв («А! Хорошо, если у женщины тело "Как снег перед закатом, // Горит сияньем розоватым", если ее юные груди разбегаются в разные стороны, милые пилигримки! Но Позор Любви? Прощай»). Другие образцы подобной же ассоциативной композиции у молодого Брюсова — письма Бальмонту (17 мая 1897), Курсинскому (14 июня и 15 июля 1895) и др.

Из этого примера видно, какую исключительно важную роль играют в лирических письмах Брюсова стихотворные цитаты: они одновременно и поддерживают поэтический тон, и переключают направление темы. Так создается лирическая проза, которую сам Брюсов явно ощущает как художественный текст и старается оформить как литературное произведение. В письме к Шестеркиной (25 июля 1900) он прямо говорит: «Примите прилагаемое письмо — написанное давно, не посланное, но и не разорванное — за "стихотворение в прозе", еще лучше за перевод с французского (. . .)». Письмо к Самыгину о разговоре со своей будущей женой (4—5 августа 1897) членится на короткие абзацы равной величины, подобные строфам, — совершенно так же, как образцовые стихотворения в прозе Рембо или Ницше. Письмо к Павловской (февраль 1897: «Великаны из пламени говорят: свят. Великаны из льда и скал говорят: благословен (. . .)») нумерует эти абзацы, совсем как в Священном писании или в будущих «симфониях» Андрея Белого. Письмо к Самыгину о последнем свидании с Павловской, выписанное в дневник (8—9 сентября 1897), написано как кульминационная страница романа от первого лица: «(. . .) Остаться там, бросить все, университетские занятия — да! да! — И Жанну? — Знаю, что истинный ответ — да! — Но не говорю этого... еду... — Свисток, поезд рванулся... Колеса стучат... Еду, и я это знал». Письмо к Станюковичу (начало октября 1895), несмотря на не столь уж лирическое содержание, снабжено эпиграфом из Фоганова. Писем, открывающихся цитатой из своих или чужих стихов, а иногда из прозы, еще того больше.

Однако от опоры на стихотворные цитаты возможен переход и к другому направлению разработки: к критическому и теоретическому. «Давайте читать вместе, как давно, как в прошлом. В Алушке в библиотеке нашлось издание стихов Фета 1850 г., — пишет Брюсов Бальмонту (21 июня 1898) и приводит большие выписки из «Соловья и розы» — почти без комментариев, потому что между единомышленниками комментарии не нужны. Выписки из Библии (такого изящества, такой изысканности эпитетов и красок, какую не найдешь и у Гюте!) сочетаются с выписками из Бодлера в переводе П. Я. Кубовича) и из Франца Эверса и перемежаются переспросами: «Дивно?» (Станюковичу, 21—20 ноября 1894). Когда едино-

мыслие сомнительно, то комментарии появляются и разрастаются в пространные разборы — такова критика перевода «Любви ангелов» из Мура в письме к Курсинскому (6 августа 1895); ср. письмо к Самыгину о его пьесе (14 января 1898). Главное же место, где происходит литературно-критическая тренировка молодого Брюсова, — это, конечно, письма к Перцову с их апологиями собственных стихов, высокомерными критиками чужих, отступлениями о таких предметах, как ритмика народного стихосложения, и непрерывной хроникой журнальных публикаций. До поры до времени это — единственный выход «на публику» для непечатающегося молодого автора «Русской поэзии в 1895 г.». Время от времени Брюсов прямо задает корреспонденту тему для систематического обсуждения: таковы тезисы по статье В. Соловьева «Первое начало теоретической философии» (Самыгину, 23 января 1898 и далее), таковы собственные тезисы о сущности чистой поэзии.

Любопытно, как иногда второе, научно-критическое отношение к поэзии вторгается в область первого, лирико-художественного: цитаты из стихов в лирически взволнованных письмах вдруг перебиваются ссылками на источник, более уместными, казалось бы, в научной статье: «Это из Пушкина», «Это из Фета», «Это из Гиппиус». «Вы забыли? Это К. Павлова», «"Книга раздумий", если забыли» и пр. (Бальмонту, 12 января и 15—28 января 1896, 17 мая 1897, зима 1902; Павловской, 5—12 января 1897; Шестеркиной 31 мая 1901).

Эпоха лирических писем продолжается приблизительно до 1900 г. Затем наступает эпоха прагматических, деловых писем.

Положение Брюсова в обществе и литературе теперь иное. Из неведомого стихотворца, рвущегося в литературу, он становится признанным поэтом. Сперва это признание ограничивается узким кругом писателей-символистов, потом делается всеобщим. Теперь пафос его самоутверждения может стать спокойнее. Лабораторный труд по выработке своего «я» завершен. Дневниковые записи иссякают; рабочие тетради, в которых так наглядно сходились все аспекты творческого «я», прекращаются после 1899 г. Черновая работа продолжается на отдельных листах: письма сами по себе, стихи сами по себе, журнальная проза сама по себе. (Даже стихи начинают группироваться не по субъективным, а по объективным признакам: по жанрам в «Urbi et orbi», по темам в последующих сборниках). В письмах своих Брюсов представляет теперь не только самого себя, но и тех, кто стоит за ним: он пишет от лица «Скорпиона», от лица «Северных цветов», от лица «Нового пути», от лица «Весов», от лица «Русской мысли». Конечно, при каждом удобном случае он напоминает, что его не следует отождествлять с его окружением, что он любит и ценит своего корреспондента, и только малый объем «Весов» или читательские привычки подписчиков «Русской мысли» не позволяют ему достаточно широко его публиковать (например, к Волошину 24 февраля 1904; к Ремизову, начало ноября 1904). Но ощущение, что Брюсов — вождь, и за ним — его литературное войско, остается постоянным; именно таким остался Брюсов во всех воспоминаниях современников. Игра в деятельность, какую были полны все ранние письма, сменяется настоящей деятельностью. Брюсовскому самоутверждению не нужно больше самораскрытия в лирических письмах: сам факт, что он пишет деловые письма, уже подкрепляет его потребность в самоутверждении.

Круг корреспондентов Брюсова меняется. У него не было постоянных «эпистолярных спутников», как, например, у Пушкина. Товарищи, знавшие Брюсова по гимназии или университету, — те, к которым он мог обращаться «Друг мой!»: Самыгин, Курсинский, не говоря уже о Станюковиче, — отходят в его переписке на третий план; даже с Бальмонтом переписка становится все более редкой и напряженной. Брюсов как бы избегает свидетелей своего становления. Новый круг его эпистолярных контактов — это его товарищи по символизму, это молодые поэты-ученики, это литераторы, у которых он просит сочинений для своих изданий, а они у него — для своих. Восторженная лесть Б. Садовского, постоянная почтительность Гумилева («вы — учитель, а я ученик»), наигранная приниженность Ремизова, стилизованная маска Клюева, самолюбивый задор Эренбурга — вот фон, на котором Брюсов играет свою роль «мэтра».

О романтическом самораскрытии, таком, как в ранних письмах, больше не может быть и речи. Еще в 1895 г. Брюсов писал Курсинскому (15 июля): «Не все то должно писать, что можно сказать: в письме нет тона голоса, нет выражения лица — каждая фраза прикована цепями, ее можно перечесть, на ней остановиться. Этого я не должен был забывать». Зрелый Брюсов об этом уже не забывает, его письма осторожны, сдержанны и продуманы. Он сам подчеркивает точность выбираемых им слов: «(. . .) Конечно, это будет интереснейший сбор-

ник из одиннадцати, издаваемых нами. (Но, заметьте, я говорю "интереснейший", выбирая слово)» (Белому, около 20 августа 1903); «Дорогой Борис Николаевич! (И это слово — дорогой — примите не в "эпистолярном" значении, а в настоящем, первичном (. . .)) (. . .) Я рад, что Вы написали свое письмо мне; даже больше, чем рад, немного счастлив (. . .)» (Белому, после 12 августа 1904). Эта сдержанность давалась Брюсову нелегко: в том же письме к Белому упоминается «горькая привычка молчать», пришедшая «после десяти лет жизни», и чувствуется ностальгическое воспоминание о своем максимализме 1890-х годов. Иногда эта сдержанность прорывается откровенностью. Так — в цитированном письме к Белому (но Белого откровенность Брюсова не убедила, и на каждой странице полученного письма он написал: «Ложь»), так, еще неожиданнее, — в письме Эренбургу (5 июля 1916): «для Музы одно: „звучки сладкие“, которые и суть „молитвы“. Вы скажете, пожав плечами, что я сообщаю Вам элементарности, как младенцу. Нет! Я передаю Вам здесь эсотерическую тайну, немногим ведомую (. . .)» (но Эренбург отвечал: «Между нами стена, не только тысячи верст!..»).

Прагматические письма вместо лирических; диалогические — вместо монологических; простой стиль — вместо возвышенного; логическая композиция — вместо ассоциативной — такова эпистолярная манера Брюсова 1900—1910-х годов. Это была не прихоть: Брюсов этих лет действительно погружен в деловые заботы, свои и чужие, — достаточно вспомнить его работу «на все руки» в первый год «Весов». Но это было словесное осмысление, жанровое воплощение своей новой жизненной роли.

Краткие отрывистые деловые письма Брюсову, конечно, случалось писать и раньше: например, к Добролюбову о символистском журнале (декабрь 1895: сперва ответы, потом вопросы) или к Курсинскому с московскими литературными новостями (10 июля 1898). Теперь они становятся в переписке Брюсова преобладающей формой. Вот типичное письмо — Самыгину (которому раньше Брюсов писал так лирично) около 28 марта 1902: без обращения, почти не письмо, а конспект письма, с вынесением тематических слов в начало каждой фразы (ср. письмо Полякову 19 января 1906, где такие тематические слова даже подчеркнуты). «"Русский Вестник" будет ли выходить — неизвестно. "Плевелы" спрашивал — они целы, но еще их не получил: у Казецкого умер брат, и его неловко тревожить. Фролыч, он же Филиппов, безнадёжен, у него ничего печатать не стоит. Хочу Вас увидеть. Могу быть Ваш, кроме второго дня, всю Святую. Юрия Петровича не видал давно. А на молчания мои не сердитесь — таков я. "Северные цветы" выйдут на той неделе непременно, если не цензура. С. А. Поляков, наш издатель, был очень болен, теперь лучше. Юргис уехал за границу. Был Бальмонт, уехал туда же. После Пасхи уезжаем мы — туда же. Сердечно Ваш Валерий». Совершенно таково же, только с более широким охватом новостей, например, письмо Коневскому (апрель 1900): «Верхарн издал (. . .) Стриндберг помешался (. . .) М. Дурнов уехал к бурам. Бахман издаст новую книгу стихов (. . .)».

Это — деловые письма с информацией; деловые письма с поручениями еще лаконичнее. Таковы почти все письма к Садовскому и большая часть писем к Волошину в Париж. Здесь сухая интонация выразительно деформирует даже синтаксис. «Дорогой Макс Александрович! Это — деловой ответ. Итак. 150 р. (. . .)». «Дорогой Макс! Вот в чем дело. Мы все, конечно, довольны очень, и просто рады, и Вам благодарны за статьи Гиля, которого все чтим. Но. Вы видели „Весы“ (. . .) и знаете их размер (. . .)» (Волошину, 18 и около 22 января 1904). Ср.: «Напишите точно, делать ли что-нибудь и где? Еще. Любопытствовали ли Вы (. . .)» (Полякову, 6 июня 1902). Такие письма производят впечатление отрывистых реплик в диалоге; некоторые письма к Ремизову прямо начинаются с «но»: «Но, уважаемый Алексей Михайлович, ведь „Весы“ критический журнал (. . .) в нем не будет ни стихов, ни драм, ни новостей (. . .)». «Дорогой Алексей Михайлович! Но, право, к книгоиздательству „Гриф“ я еще меньше причастен, чем к книгоиздательству „Скорпион“ (. . .)» (13 декабря 1903 и 31 августа 1905). Та же диалогичность подчеркивается такими предупреждениями, как «Дорогой Макс! Только ответы» (и затем 4 ответа в 6 строчках открытки — Волошину, 19 ноября 1904); «Повторяю, это лишь ответ. О себе — другой раз, в другом конверте» (Белому, около 20 июля 1903).

Предела этот деловой стиль достигает в рубрикации по пунктам. Полякову Брюсов пишет (10 марта 1904): «Дела:» — и следуют 6 быстрых пунктов. Волошину Брюсову пишет хаотическое письмо и, запутавшись, суммирует в конце: «Итак, вот дела:» — и перечисляет 7 пунктов (5 февраля 1904); Брюсов отвечает Волошину четко расчлененным письмом («О войне (. . .) Во-первых (. . .) Во-вторых (. . .) Теперь о „Весах“ (. . .)») и кончает: «Для точности

вот ответы по Вашим пунктам» и т. д. (А затем знакомый перебой стиля в постскриптуме: «Из Ваших стихов мне всего больше по сердцу (. . .)» (около 10 февраля 1904). Взявшись за редактирование в «Русской мысли», Брюсов в одном из первых же своих писем к Струве (2 сентября 1910) заявляет: «прошу позволения писать по-деловому, кратко, даже „за цифрами“» — и далее дает даже двухстепенную рубрикацию, с римскими и арабскими цифрами; больше, правда, двухстепенная у него не встречается, но одностепенная в одном из писем (8 октября 1910) доходит до 24 пунктов.

Вместе со специфической формой деловых писем приходит и их специфическое содержание: таковы письма извинительные и письма дипломатически-комплиментарные. Брюсову приходится извиняться перед Ремизовым и Волошиным за опечатки в их публикациях (Ремизову 9 апреля 1903; Волошину; апрель—май 1904), перед Чулковым за резкость критической статьи о нем (29 июля 1905, с «во-первых (. . .) во-вторых (. . .) в-третьих (. . .)», перед Поляковым за передачу своих сочинений из «Скорпиона» в «Сирин» (25 октября 1912). Отказывая в публикации Сологубу, он пишет: «Вы понимаете это тиснение редактора, желающего, чтобы в его журнале именем Федора Сологуба были подписаны стихи, принадлежащие к числу его лучших созданий» (29 февраля 1912); посылая собственные стихи Струве («Моисей»), пишет: «меня взяло сомнение, хороши ли они? не слишком ли риторичны? не фразы ли это вместо поэзии? Поэтому посылаю их Вам. Не откажитесь прочесть эти немногие строфы и скажите мне, конечно, вполне откровенно, и даже со всей строгостью, надо ли их печатать» (10 января 1911; представить себе молодого Брюсова, который делится таким «сомнением» с издателем, было бы трудно). Пределом комплиментарной бессодержательности в письмах Брюсова этих лет является, несомненно, его французская переписка с Верхарном.

Когда деловое письмо перерастает из «малой формы» в «большую», то оно принимает вид продуманного риторического построения. Таково письмо к Полякову, написанное в разгар последнего кризиса «Весов» (16 ноября 1908): с вступлением «от примера», с тремя взаимоподкрепляющими просьбами по пунктам, с логическими связками между ними и с психологически рассчитанным заключением. «Дорогой Сергей Александрович! Тацит рассказывает, что некоего Вибия Серена римский сенат приговорил к пожизненному заключению на безводном и безлюдном острове. Тиберий воспротивился тому, говоря, что человека, коему дарована жизнь, нельзя лишать способов к поддержанию жизни. Вы, Вашей телеграммой, даровали жизнь „Весам“. Не лишайте их способов к поддержанию жизни. Вот почти две недели, как мы ждем от Вас указаний (. . .) Нам надо без всякого промедления (. . .)» (следуют пункты). «Но можно ли начать что-либо, не получив (. . .) Между тем подписной сезон разгорается (. . .) Нам необходимо знать следующее (. . .)» (следуют пункты). Я нарочно ставлю эти вопросы в форме деловой, юридической, чтобы Вам легче было на них ответить (. . .) Это — крайний срок (. . .) Вот почему я всячески прошу Вас (. . .)» (и т. д., вместо пунктов — с подчеркнутыми словами: «*телеграфировать... написать... существенно...*»). «По получении Вашего согласия по телеграфу мы (. . .)». И в конце добавлен постскриптум, тонко исходящий из предположения, что предложение уже принято Поляковым.

Такое увлечение деловыми письмами, вольное или невольное, шло вразрез с общим устойчивым представлением, что истинное содержание писем — «внутреннее», душевное, а не «внешнее». Поэтому при деловых письмах то и дело присутствует мотив извинения или хотя бы предупреждения о том, что это письмо как бы не настоящее. «Очень прошу меня извинить, что не могу отвечать подробно (. . .) Вот, так сказать, официальные ответы (. . .)» (Коновскому, октябрь 1900). «Но поверьте мне, что я всегда в каком-то вихре... Где тут писать тем, кто дорог. Пишешь только официальные письма, которых писать к Вам не хочется. И, однако, это — почти официальное письмо...» (Волошину, 24 февраля 1904). «Сегодня я прошу позволения говорить исключительно „о делах“, о судьбе „Весов“ (. . .)», «Теперь не время, конечно, говорить о „делах“». Но позволъ мне все-таки (. . .) Иванову, 28-июля и 20 сентября 1904, ср. в том же роде письмо от Иванова, 1 ноября 1903).

Недовольство этим, конечно, чувствовалось: Иванов пишет Брюсову (1 августа 1905): «(. . .) Хотелось бы обменяться хоть письмами, что ли, по существу, — но это так трудно... Ты вообще лаконичнее меня в переписке. Может быть, сделаешь опять одно из всегда мне памятных исключений и напишешь мне, как следует, — по принципу общения, а не сообщения (. . .)».

Брюсов пытался писать «по принципу общения». Даже в коротких записках у него время от времени (как бы фразой «в сторону») всплывает эмоция, непосредственно к делу-

вому предмету не относящаяся. Открытка Белому (31 июля 1903), начинающаяся: «Простите карандаш — пишу в вагоне. Конечно, высылайте рукопись (. . .)», неожиданно кончается: «Вся русская поэзия будет в „Скорпионе“. Эта осень — что-то вроде генерального сражения. Ватерлоо или Аустерлиц?». В коротком письме Чулкову (9 июля 1904) читаем: «Итак, исполнить Вашего поручения не мог и на похоронах Чехова не был (не люблю я, когда великого человека хоронят маленькие, т. е. не люблю любоваться на это). Стихи в августе ни в коем случае не печатайте (. . .)».

Чаще всего он старается «переступить через себя» и заговорить свободнее в письмах к Вяч. Иванову и Андрею Белому — тем из символистов, кого он более всего уважал. Именно в письме к Иванову (1 сентября 1905) Брюсов решается говорить о своем творческом самочувствии так, как когда-то говорил в «эпистолярном дневнике»: «Работаю очень много, как давно уже не работал (. . .) А замыслов хватило бы на всю жизнь, если не на две (. . .) Вообще в творчестве чувствую свежую бодрость, силу, возможность всего — открыленное ясного утра, когда так легко дается, чего тщетно добивался и огненным вечером и в безвольную ночь (. . .)». В письме к Белому (август 1903), на которого Брюсов перенес лучшие чувства, испытываемые им когда-то к молодому Коневскому (*Дневники*, 121), он обращает к собеседнику такие слова, какие редко у него прорываются: «Покончив с этими довольно-таки скучными необходимостями, поговоримте о Вас общее. Я не представляю себе Вас „литератором“ (. . .) Я слишком верю в Вас. Что до меня, например, я могу писать и в „Пути“ и в „Архиве“ и даже „бог знает“ где, как могу целовать всех женщин (. . .), могу доходить до последних пределов позорного. Вы этого не можете. И конечно, в этом-то все Ваше безмерное преимущество надо всеми нами (. . .) У нас есть временные слова, которые мы забываем. Вы говорите только вечные слова, только слова навеки. Нет, Вам нельзя быть литератором. Что же Вам делать? — Не знаю». В другом письме к Белому (после 12 августа 1904) он так же прямо говорит свое мнение обо всем своем поколении и направлении: «Нет в нас достаточно воли для подвига (. . .)» и т. д. Но эти попытки «общения» были редки и давались Брюсову трудно. Рядом со сдержанными и проникновенными фразами Вячеслава Иванова, рядом с безудержным потоком сознания Андрея Белого скованность брюсовских слов и интонаций чувствуется особенно отчетливо. Сказывалась «горькая привычка молчать, пришедшая (. . .) после 10 лет жизни», о которой Брюсов говорил в том же письме. Брюсов более не ощущал переписку как средство общения. Вольно или невольно он следовал правилу своего любимого Тютчева: «Мысль изреченная есть ложь». Чем неутомимее он писал о «внешнем», тем упорнее молчал о «внутреннем».

Так не могло продолжаться без конца: все сколько-нибудь серьезные эпистолярные контакты Брюсова этих лет оборачиваются взаимонепониманием и заканчиваются выяснением отношений, иногда — с последующим разрывом. Письма с выяснением отношений образуют явственно выделяющуюся группу в переписке поэта. Они пространны и логичны. Именно по ним яснее всего видны перемены в композиционной манере Брюсова: на смену ассоциативной композиции приходит логическая, на смену эмоциональному напору — рациональная убедительность.

Первым наступило объяснение с Бальмонтом. Оно было односторонним; может быть, поэтому Брюсову не понадобилось никакой композиционной сложности. Его письмо (между 5 и 17 апреля 1902) последовательно развивает одну мысль, разъясняя ее в двух сопоставлениях: между собой и Бальмонтом, между Бальмонтом-человеком и Бальмонтом-поэтом. «Вы осуществили идеал, о котором в малолетстве я мечтал. Из двух стихов: „Мгновение мне принадлежит, Как я принадлежу мгновенью“, — Вы взяли первый (. . .) Вы свободны (. . .) Мне, конечно, кажется, что я перешел куда-то выше, достиг некоей большей свободы. Но допускаю, что, может быть, неправ (. . .) А теперь скажите мне — почему Вы, достигший этой свободы в жизни, не достигли ее в стихах? Здесь наши роли меняются (. . .) Все это объясняет, между прочим, мне, почему все Ваши стихи так прекрасны в Вашем чтении. Прекрасны не стихи, а Вы (. . .) Все это, должно быть, мое окончательное мнение о Вас. Идите вперед все так же стремительно, я буду на Вас любоваться. Но, встречаясь, мы всегда будем доходить до обидных слов друг другу (. . .) Все для Вас должны быть декорациями, такими, как Вы хотите, а иные Вам не то что нелюбопытны, а не нужны (. . .)» По связности и четкости эта цепь рассуждений не уступит ни одной из брюсовских журнальных статей о Бальмонте. Особенно ярко это видно при сопоставлении с письмом Бальмонта (7 августа 1902), который остается верен их раннему лирическому стилю: «Из всех, кого я называл

названием друга, только Вас мне больно было бы утратить навсегда, расстаться с Вами на этой Зеленой Звезде. Живите долго, потому что Вы нужны для красоты мира (. . .)».

Та же схема — различие между человеком и писателем, столь чуждое раннему брюсовскому понятию «я», — выступает в позднейших объяснениях с Чулковым и Волошиным. Чулкову Брюсов пишет (25 июля 1906): «Я люблю Вас, очень люблю. Этим я хочу сказать, что как человек, как личность Вы мне очень нравитесь (. . .) Но — странно: (. . .) как писателя я Вас скорее не люблю. Из этого возникает моя «несправедливость» как критика (. . .) Боясь быть лицепритным, я впадаю в другую крайность — я отношусь к Вашим вещам строже, враждебнее (. . .) Вы мне нравитесь, поскольку Вы *natura naturans*, — Вы мне не нравитесь, поскольку Вы себя проявили, поскольку Вы *natura naturata*. Таков вывод искреннего и добросовестного анализа моих чувств к Вам и к Вашим книгам. Я должен был предпринять этот анализ *для себя*, чтобы уяснить самому себе свое отношение к Вам, а после Вашего дружеского письма считаю своим долгом пересказать об этих выводах — *Вам*. Волошину, который написал о Брюсове статью, совсем по ранней брюсовской программе рисующую его внутреннее «я» по внешнему «я» — стихам, лицу и обстановке, — Брюсов пишет (1 января 1908): «Я прочел Вашу статью обо мне в „Руси“. Все, что Вы говорите о моей поэзии, хотя я и не со всем согласен, кажется мне очень интересным и очень ценным. Все, что Вы говорите обо мне лично, меня очень сердит и кажется мне очень неуместным (. . .) Вы хотите еще писать обо мне (. . .) я настойчиво прошу Вас говорить обо мне только как о поэте (. . .)» и т. д. Здесь композиция усложняется: на отвлеченный вопрос о человеке и писателе накладывается конкретный вопрос о статье Волошина, и письмо для четкости распадается на три абзаца, посвященных прошлому, настоящему и будущему: «Я прочел Вашу статью (. . .)» (прошлое) — «Я считаю совершенно необходимым напечатать протест против Вашей статьи и пересылаю его Вам (. . .)» (настоящее) — «Вы хотите еще писать обо мне (. . .) я (. . .) прошу Вас (. . .)» (будущее). Такая же композиция по трем временам мелькала в начале делового письма к тому же Волошину еще около 22 января 1904.

Объяснения с А. Белым были неоднократны, и первое понадобилось уже в 1903 г., в пору конфликта с «Грифом». Письмо Брюсова (5 декабря 1903) логически строится так: 1) «внутренние» отношения Белого: а) с Брюсовым, б) с символизмом; 2) «внешние» факты: а) в «Скорпионе», б) в «Гриффе»; 3) возвращение к личной теме 1а. «Я говорил с Вами *через* все условности общежития, *через* всякие „вежливости“ и „салонности“, а Вы расслышали только обидные слова! (. . .) Но дело не *только* в Вас и во мне. Среди нас иная сила, пренебрегать которой мы не смеем. Маленькие чародеи, мы заклины страшного духа; он предстал (. . .) И во внешнем Вы совершенно не правы. Совсем неверно, будто мы, „скорпионы“, наложили на Вас какие-то деспотические требования (. . .) Не можете же Вы не видеть, что Соколов — балаганный шут (. . .) И в заключение еще о себе. Если я Вам сказал, тогда или сегодня, обидные слова, — простите меня (. . .) Перед Вами извиниться мне не будет стыдно никогда и не будет никогда унижением (. . .) Любопытно сравнить с этим «обратное» объяснение, последовавшее через год с небольшим (19—21 февраля 1905), когда Брюсов вызвал Белого на дуэль, а Белый ответил ему растерянным объяснительным письмом, схожим с цитированным брюсовским по жанру, но никак не по тону.

Много позже, во время столкновения Белого с «Русской мыслью», Брюсов, чья роль при этом оказалась столь тяжелой, писал Струве (январь 1912): «Он написал Вам какое-то странное письмо в духе тех, которые должны были писать герои Достоевского. Должен Вас предупредить, что это — свойственно Белому; он уже много в своей жизни написал таких писем, в которых, конечно, потом раскаивался». Трудно отделаться от впечатления, что в своем отношении к эпистолярной манере экзотических писем Белого — отношении понимающем, но и отталкивающемся, — Брюсов был движим также и отталкиванием от собственной ранней лирической манеры эпистолярного стиля. Продолжателем этого лирического эпистолярного слога (не только Брюсова, но и раннего символизма вообще) оказался Белый и развил его до предельных возможностей; но для самого Брюсова это был уже вчерашний день.

Объяснение с Вяч. Ивановым, самое трудное, наступает в 1907 г., в пору конфликта с «Золотым руном» и полемике о мистическом анархизме. Письмо Брюсова, посвященное этому (июль 1907), — образец еще более логического расчленения предмета: 1) вступление; 2) утверждение: А) отношение «Весов» к Иванову (вина перелagается на Иванова); Б) личное отношение Брюсова к Иванову: а) как к человеку, б) как к поэту (оно неизменно); 3) опровержение: вина перелagается (а) на самого Иванова, (б) на сотрудников Брюсова по «Весам»,

(в) на сам предмет полемики, не допускающий уважительного отношения; 4) вместо заключения — тематический перебой. «Дорогой Вячеслав! (1) Силою обстоятельств письма наши стали исключительно деловыми, — не сердись на это, ибо вина, кажется, не моя. (2А) Ты просишь меня определить отношения „Весов” к тебе. Но отношения эти *никогда* не менялись (. . .) Напротив, это твоё отношение к „Весам” переменялось (. . .) (2Б) Что касается лично моего отношения к тебе (. . .) А мое отношение к тебе как к *поэту* (. . .) (3) Но ты укажешь мне на враждебные статьи „Весов” против тебя (. . .) Во-первых, отвечу я, ты сам сделал ошибку (. . .) Во-вторых же, я не считал себя вправе стеснять свободу мнений (. . .) сотрудников „Весов” (. . .) Ты говоришь, что допускаешь „философскую критику” мистического анархизма, но таковой быть не может (. . .) (4) Рукопись „Сог арденс” мы еще не получили (. . .)» Видимо, именно эта деловая расчлененность, вносимая в личную тему, вызвала раздражение, чувствуемое в ответе Иванова, выдвигающем иной идеал письма (4 августа 1907): «Дорогой Валерий! Решительно пора мне написать тебе, как следует, — т. е. достаточно много с одной стороны, с другой — в тоне большей, чем в коротких и деловых письмах, непринужденности и открытости. И хотя все, о чем хочу писать, будет иметь прямое отношение к нашим „деловым” темам, тем не менее самая непринужденность и, быть может, разговорчивость этого письма дает мне, по крайней мере, впечатление устного разговора. Я ненавижу суррогаты, но теперь слишком стосковался по личному общению с тобой (. . .) Твое подробное письмо, за написание которого я тебе благодарен, дает мне вехи (. . .)» и т. д.

Менее напряженно, но столь же логично более позднее письмо (18 января 1910) — ответ на признание Иванова в приступе апатии и в надеждах на «Общество ревнителей художественного слова», собирающее молодых поэтов. Брюсов пишет: (вступление) «Я чувствую тебя близким и бесконечно себе дорогим (. . .) (1) «Мне было очень приятно все, что ты написал мне о „крайнем равнодушии, оковывающем тебя (. . .)» (2) «Этому внутреннему неустройству соответствует вполне неустройство внешнее (. . .) Ты знаешь, что я *никогда* не был врагом молодости, молодежи (. . .) Но (. . .)» (а) «В Петербурге у вас я не вижу никаких радующих предзнаменований (. . .)» (б) «Еще хуже обстоит дело у нас в Москве (. . .)» (3) «Я думаю, что в этой общественной дезорганизации достаточно повинны и мы, т. е. мы с тобой (. . .)» (а) «Что должно делать мне, я ниц (. . .)» (б) «Но тебе прежде всего усилием воли надо стряхнуть с себя твоё равнодушие (. . .)» (Заключение) «Я очень жалею, что в моем распоряжении только перо и бумага (. . .)».

Последним в этом ряду писем-объяснений могло бы стоять письмо Садовскому (13 апреля 1915) в ответ на его неожиданное антисимволистскую и антибрюсовскую книгу статей «Озимь»: об условности понятий «поэт» и «стихотворец», с концовкой: «Не думайте, что я обиделся или сержусь на Вас (. . .) Вы написали откровенно все, что думали (. . .) Конечно, „Озимь” создаст Вам много врагов. Я не из их числа. Жму Вашу руку». К сожалению, нет уверенности, что это письмо, сохранившееся только в копии Садовского, известно своими литературными фальсификациями, — не подделка.

Наконец, когда «внешние» дела не дают, личные отношения не дошли до необходимости объяснений, а поддерживать переписку почему-либо надо, тогда у Брюсова идет в ход еще один эпистолярный стиль — «болтовня». Для него это почти термин. «Теперь, когда мы, Людмила Николаевна, перестали быть необходимыми друг для друга, позвольте мне просто болтать с Вами (. . .)», — начинает Брюсов письмо к Вилькиной (25 декабря 1902), и далее следует высокомерное описание триумфа «На дне» в Художественном театре и своего вызывающего выступления на лекции Боборыкина в Литературно-художественном кружке. «Четвертый день от вас нет вестей. Что делать, подчиняюсь. Будем болтать; хотя порою боюсь, что моя болтовня не к месту», — начинает он письмо к Шестеркиной (29 июня 1901): «пустое и случайное, пусть оно будет символом, что вот здесь, в Москве (. . .) я сижу и думаю о Вас». Даже в письмах к Гиппиус в Париж возникает этот термин: «боюсь, что и так замучил Вас своей святочной болтовней» (27 декабря 1906), «но я болтаю пустяки, между тем как есть множество „дел” (. . .)» (между 16 и 21 апреля 1907). Именно по этим письмам к Гиппиус можно понять, что для Брюсова входило в понятие «болтовни»: во-первых, пестрота и «внешность» сообщаемых новостей, во-вторых, ассоциативная композиция («От „Весов” переход естественный к „Золотому руну”. В связи с „Руном” в Москве совершилось два важных события (. . .)» — 27 декабря 1906). Эта ассоциативная композиция — верный признак, что в «болтовне» зрелого Брюсова перед нами пережиток его ранней эпистолярной манеры. Но лиризм этот —

выровненный, спокойный и уже едва ли не игровой. Эта «болтовня» напоминает скорее письма к Шириевой, чем письма к Павловской.

Бросается в глаза, что письма такого рода обращены преимущественно к женщинам. Самая большая серия опубликованного материала — это письма к Шестеркиной (лето 1901), почти беспредметные, писавшиеся только ради поддержания контакта: по-видимому, корреспонденты договорились описывать друг другу каждый свой день. Брюсов заполняет их потоком импрессионистических впечатлений, нарочито внешних и бессвязных. «Сижу в Архиве и перебираю письма Булгакова. Крутом никого. Только две русалки, как и всегда, глядят на меня: у них печальные глаза и волосы, превращающиеся в морскую пену, а из волос выступает букет болотных лилий (русалки, конечно, из гипса) (. . .)». (Потом эти русалки упоминаются в этом письме еще трижды, с нарастающей лиризацией.) «В соседней комнате перезвон ножей и вилок. За окном звонки коков и дребезжание пролеток. Чирикают воробьи. Вижу зелень садика, нависающую к окну. Дальше — дешевую пышность входа в сад „Аквариум“. Еще дальше — опять оно, синее, вечное небо (. . .)». «Тикают часы. Кричат разносчики. Пахнет расцветающей липой. Утро и солнце после ночного дождя. Какое синее небо! Там за забором — наша соседка (. . .) Стал смотреть на нее. Ушла. Чирикают воробьи. Их гнездо под нашим окном (. . .)». «Ах, не сердитесь (опять «не сердитесь») на эти перечни, на эту светопись (. . .)» (письма 23 мая, 29 мая, 23 июня, 31 мая 1901). Этот импрессионистический стиль не получил развития в творчестве Брюсова, но он интересен для сопоставления, например, со стилем тех стихотворений, которые в нескольких его сборниках образовывали разделы под заглавием «Мгновения» и другими подобными.

Неудивительно, что в этой узкой эпистолярной отдушине возникают порой и иные рецидивы раннего лирического стиля Брюсова, как бы компенсируя все более застывающую в деловой логичности остальную переписку зрелых лет. К той же Шестеркиной он вдруг обращается (январь—февраль 1903, из Петербурга): «Ах, почему Вы мне не пишете. Мне было бы так странно услышать Ваш голос здесь, в этих иных для меня условиях бытия. Это было бы то же, как встретиться вновь (о! через много тысячелетий) с Вами после смерти, там, в иных полях, бескрасочных, беззвучных (. . .) А! Я так ясно предвижу этот миг, за тысячелетиями, за безвременной безграничностью (. . .)». Возрождаются мотивы декадентской бравады: «Мне надоело жить (но не быть!). Мне наскучило писать стихи, считаться литератором (. . .) Право, уйти и просить милостыню на улицах веселее и умнее. Быть может, я так и сделаю. Пока же живу помещиком (. . .)» (ей же, 24 июня 1903); «Останусь собой, хотя бы, как Андре Шенье, мне суждено было взойти на гильотину. Буду поэтом и при терроре (. . .)» (ей же, 1 ноября 1905). Вилькиной он пишет почти дословно то же, что когда-то Биндасовой и тетке (сентябрь 1902): «Я никогда (. . .) не любил, не ненавидел, не страдал. Я вне этого, всегда как зритель, даже когда другим кажусь актером (. . .) В глубине души никого я не люблю, никого мне не было бы жалко, и ни на кого я не сержусь в мире. Это самое искреннее признание делал я уже несколько раз и только в этом, кажется, и бываю я вполне открытым, — и никто до сих пор не поверил мне, как, вероятно, не поверите и Вы. Но будет обо мне. Я хочу посоветовать Вам не откладывать печатания Метерлинка (. . .)».

Конечно, никакая игра не может быть только игрой. Брюсов знал и подлинные сомнения, страдания, душевные переломы; и когда они прорывались на поверхность, это происходило именно в письмах рассматриваемого рода. Наиболее значительны здесь письма к Н. Петровской, до сих пор опубликованные только в отрывках. «Мне нужно какое-то воскресение, какое-то перерождение, какое-то огненное крещение, чтобы стать опять самим собой, в хорошем смысле слова. Куда я гожусь *такой*, на что нужен! Машинка для сочинения хороших стихов! (. . .) Милая, девочка, счастье мое, счастье мое! Брось меня, если я не в силах буду стать иным, если останусь тенью себя (. . .)» (27 мая 1906). «И вдруг пришла — ты (. . .) Пришла любовь, о которой я только писал в стихах (. . .) Я не могу более жить изжитыми верованиями, теми идеалами, через которые я перешагнул (. . .)» (13—14 июня 1906). «Не прежними мы должны быть, а новыми (. . .) Я не могу, не способен — отдаться любви, броситься в нее, как в водоворот, закрыть глаза, дать стремить себя потоку чувства. Я знаю, я верно знаю, что это и есть „то, что люди называют“ счастьем. Но я уже не ишу счастья, не жду его, и *мне его не надо*. К иному иду я, не знаю, большему или меньшему, но к иному (. . .) Таким надо принять меня теперь, ибо иного меня — нет (. . .)» (8 ноября 1908).

Эти фразы не раз цитировались и пересказывались, и трудно, читая, сомневаться в их искренности. Однако и они требуют оговорок — оговорок применительно к эпистолярному

жанру и виду. Дело в том, что почти то же Брюсов писал несколькими годами раньше в письме к Вилькиной (15—20 августа 1903): «(. . .) и знаешь, что нечто в жизни кончено и началось что-то иное; что? — еще не знаешь, но не все ли равно! Мне было б трудно говорить с Вами, потому что я стою на перепутье. У меня еще нет слов, чтобы высказать все новое (. . .) Поймите (это трудно понять мне самому), что я не хочу теперь ничего из того, чего недавно желал так полно (. . .)». Эти письма написаны в сходной жизненной ситуации: близится к концу любовная связь, Брюсов ищет обоснования для разрыва и говорит о том, как он вечно движется к новому и иному, преображаясь во всех проявлениях своего существования («не прежними мы должны быть, а новыми» — это ответ на слова Петровской: «Я та же, как четыре года назад...»). В те же годы, когда писались эти страстные письма к Петровской, было написано и письмо к Чулкову (19 января 1907, процитированное в полемике и послужившее поводом для ссоры с Чулковым) — торжественное утверждение совершенно противоположной мысли: «старые программы разрушены и новые пути проложены», символизм утрачивает имя и становится академическим, он утверждает новые твердые правила, и хотя они тоже будут потом разрушены, «но истинные создатели все-таки они, "академики", а не деятели Sturm und Drang'a». «Сознаю, насколько увлекательнее роль вечного завоевателя, вечного "кочевника красоты" (. . .) но, подчиняясь мигу истории, говорю, как легендарный римский легионер: *sta, miles, hic optime manebimus*». Это — противоречие, оно реально присуще Брюсову 1905—1907 гг., оно связано с тем разделением между «человеком» и «поэтом», которое, как мы видели, столь осознанно проводится Брюсовым этих лет (Брюсов-человек рвется к новому и иному, Брюсов-художник велит символизму остановиться и застыть); но, выражаясь в слове, оно укладывается в жанровые различия между лирическим письмом-объяснением к женщине и логическим письмом-объяснением к литературному оппоненту. Это — наглядный пример, показывающий, как важно для правильного понимания брюсовских высказываний в письмах принимать во внимание поэтику писем — образ автора, жанр и стиль.

«Брюсов никогда не обнаруживал себя перед людьми в синтетической целостности. Он замыкался в стили, как в надежные футляры, — это был органический метод его самозащиты, увы, кажется, мало кем понятый», — писала Н. Петровская, один из самых умных и близких (хотя и недолгих) корреспондентов Брюсова (*ЛН*. Т. 85. С. 785, 788). «Жизненные встречи его были лишь профессионально-социальными отношениями, лучше сказать, — "клише" отношений...». Таковы были и письма Брюсова: они в такой же мере раскрывают, в какой и скрывают его облик, его мысли и чувства. Поза Брюсова прочитывается в них однозначно и легко, но сложное и не прямое отношение высказанного к невысказанному, текста к «за-тексту» и «подтексту» остаются трудноуловимыми. Чтобы лучше их понять, необходимо исследовать систему и логику тех «стилей», которые меняются и варьируются в его письмах, — разумеется, на фоне и в сопоставлении с общей эпистолярной культурой эпохи и с индивидуальными стилями писем его современников — Блока, Белого, Иванова, Сологуба, не говоря уже о меньших. Это одна из ближайших задач изучения русской литературы начала XX в.